12+

КРОВЬ МИНОТАВРА

роман о цене, которую платят памятью



ДМИТРИЙ ГАНИН

Дмитрий Ганин

Кровь Минотавра

«Издательские решения»

Ганин Д. А.

Кровь Минотавра / Д. А. Ганин — «Издательские решения»,

Кнос. Бронзовый век. На Крите не казнят — на Крите забывают. Имена уходят из камней и из людской памяти, и никто не знает, кто ведёт счёт. Четырнадцатилетняя Элиа, дочь архитектора, слышит то, чего не слышит никто: под Лабиринтом бьётся сердце. И оно считает — до последнего имени. Чтобы спасти отца, названного в суде, ей придётся спуститься туда, куда не записано ни одной дороги, — и спросить у тьмы, что ей нужно. Впервые за триста лет кто-то спросит.

© Ганин Д. А.
© Издательские решения

Содержание

КРОВЬ МИНОТАВРА 6
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЭХО ПОД КАМНЕМ 8
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПЕРВАЯ НОЧЬ 11
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. СТЁРТОЕ ИМЯ 14
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. ВЫЗОВ 17
Конец ознакомительного фрагмента. 18

Кровь Минотавра

Дмитрий Анатольевич Ганин

© Дмитрий Анатольевич Ганин, 2026

ISBN 978-5-0071-5740-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

КРОВЬ МИНОТАВРА
ПРОЛОГ. КУВШИН

Триста лет до описываемых событий

Архитектора звали Дор, и в ту ночь он впервые солгал на стройке.

Врал он не людям. Людям он не лгал никогда — в этом была его слава: каменотёсы говорили, что чертежи Дора можно читать с закрытыми глазами, потому что он не рисовал того, чего нельзя положить. Ложь эта шла в камень — и потому не была ложью вовсе, а была молчанием, отлитым в известняк.

Солгал он пустоте.

Стройка шла девятый год. Лабиринт поднимался над Кносом, как поднимается поле, — тихо, незаметно, по мере дождей. Но был в нём зал, который не удавался. Центральная. Дор менял кладку, менял раствор, менял угол свода — и зал оставался плохим. Не трескался, не оседал — это умел понимать каждый каменотёс. Он был плох иначе: в нём стоял звук.

Не эхо. Эхо отвечают — эхо чужое. Этот звук не отвечал: он повторялся. Редко, мерно, как бьётся сердце во сне. Каменотёсы молчали об этом — не из страха: из ремесленного стыда. Зал с сердцем — плохой зал, и говорить о нём всё равно что признаваться в кривой кладке.

А Дор знал причину.

Знал с той ночи, когда в море пропал его старший сын. Той ночи, когда он, архитектор, не сумевший удержать на бумаге ни одной волны, вышел на берег и услышал в скалах голос. Не ветер, не прибой — голос: короткий, детский, захлёбывающийся, из тех, какими зовут, когда уже поздно звать. Он пришёл на берег и на следующую ночь. И на третью. Голос жил в скалах, под Кносом, — и Дор, который всю жизнь строил то, что держит вес, сделал единственное, что умел: решил его построить.

Он не знал, что замыкает вместе с голосом ещё и то, что отвечало из скал.

В ту ночь он стоял в плохой зале и держал в руках кувшин.

Кувшин был обычный: глина, обжиг, две ручки. В нём не было ни вина, ни зерна, ни воды. Он был пуст — так, как не бывает пустых вещей: внутри него было молчание. Дор выловил его из залы за три ночи работы — то самое молчание, то самое бьющееся «что-то», что делало зал плохим, — и заключил в глину, как заключают пчелиный рой в улей, чтобы перевезти. У него было слово для этого действия — слово строителя, а не жреца: «погасить осадку».

Бригадир, старый Танн, смотрел, как Дор прикладывает кувшин к стене сердцевинного столба — той кладки, что держала зал, — и размечает нишу.

— Что в нём? — спросил Танн.

— Осадка, — сказал Дор. — Зал дышал. Теперь не будет.

Это была не ложь. Это была правда, у которой отрезали хвост. Зал дышал — это была правда. Что дышало в зале и почему дышало отголосками пропавшего на море мальчика — этого Дор не сказал, потому что не мог сказать: не словами, у которых есть грамматика.

— Здание будет храниться лучше, — добавил он. Это уже была ложь, но ложь маленькая, техническая, какую говорят, когда правда не для мастера, а для хозяина.

Танн кивнул и ушёл поднимать смесь.

Дор остался один — если считать одним человеком того, кто держит кувшин с молчанием и слышит изнутри кувшина, как в молчании бьётся чужая осторожность. Он замуровал кувшин в столб. Камень за камнем. Ровно, как кладут то, что не предназначено к вскрытию, — и на последнем камне он сделал то, чего не делал никогда за двадцать лет стройки: написал на внутренней стороне свою роль. Не имя. Роль: «тот, кто заложил». Два слова.

Он думал, что расписывается за работу.

Он расписывался за долг.

Пустота в зале затихла — так затихает дом, где заперли дверь. И зал стал хорошим. Каменотёсы на следующее утро говорили, что мастер наконец-то сообразил со сводом. Дор слушал и молчал, и молчание его было тем самым, которое он умел отливать в камень, — только теперь оно было запечатано внутрь, и оттого стало вдвое тяжелее.

Через месяц зал перестал быть плохим окончательно. Через год по Лабиринту пошли первые постояльцы — не те, о ком писали потом, а те, кого туда устраивали тихо, без стел и без обрядов, потому что у Крита были враги, которых не помнили. Через десять лет Дор понял, что слышит из-под земли, из-под центральной залы, мерный, редкий, сонный удар — и что удар этот стал попадать не в такт зале, а в такт его собственному сердцу.

Через двадцать лет он начал спускаться по ночам.

Он ничего не слышал там. Он сидел на нижней площадке и слушал, как его сердце выравнивается под чужой ритм, — и это была не молитва и не раскаяние. Это была сверка. Так сверяют опись с остатком: что положил — то и звучит.

А через тридцать лет, в ночь, когда кувшин под столбом ударил в первый раз не его ритмом, — а чужим, живым, холодным, — Дор понял, что молчание, которое он замуровал, не было молчанием залы.

Зала молчала, потому что молчало то, что было под ней.

И оно проснулось.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЭХО ПОД КАМНЕМ

Элиа научилась различать камни раньше, чем различать людей.

Это не было даром — так она сама себе объясняла, когда объясняла вообще. Дочь архитектора с шести лет ходит по стройкам; у камней, как у скота, есть голоса, если слушать долго. Песчаник под ладонью отзывается сухо, известняк — глухо, отполированный гипс дворцовых зал — почти не отзывается, как богатый человек, к которому не подойдёшь. Она различала их по звуку так же естественно, как различала по цвету.

Отец ценил в ней это и боялся этого — по очереди, в один и тот же день.

А в то утро она не слышала ничего необычного. Утро было обычное до последней мелочи: в гавани орали грузчики, ссорясь из-за ящика с медными слитками; базарная площадь поднимала к небу свой вечный запах — рыба, масло, мокрая шерсть овец, которых гнали на продажу; у жертвенника Большого Дома женщины лепили из глины быков — маленьких, в две ладони, с рогами, отогнутыми вперёд, как положено по обряду. Элиа лепила вместе с ними. У неё выходили лучшие быки на площади: женщины говорили — «руки архитекторские», и Элиа не спорила, хотя знала, что руки тут ни при чём. У быка, слепленного по обряду, есть правило: рога вперёд, морда вверх, ноги стоят. А у быка, слепленного для жертвенника, есть ещё одно, о котором не говорят: он должен выглядеть так, будто не знает, что его убьют. Это не передавалось руками. Это передавалось чем-то другим.

Ей было четырнадцать лет и умела лепить незнающих быков.

— Дор! — крикнули от воды, и она подняла голову.

Отца звали от пирсов. Там, у сходни, стоял морской надсмотрщик в накидке, отороченной рыбьей кожей, и чего-то требовал, размахивая хлёсткой. Дор — высокий, в запылённом переднике, с мерной верёвкой на плече — слушал, кивая. У отца была манера кивать любому человеку так, будто тот говорит дело, — Элиа знала, что это не уважение, а расчёт: пока человек говорит, он не требует. Не требующий надсмотрщик — это подарок, потому что завтра он не вспомнит, чего требовал.

Отец вернулся к ней по узкой улке, между амбарами, и на ходу сказал — негромко, себе:

— Пятый корабль за месяц. Кормчие не доходят.

— Течение? — спросила Элиа.

Отец посмотрел на неё так, как смотрели в те редкие минуты, когда она говорила взрослое, — коротко, из-под бровей, будто взвешивая, не лучше ли было молчать.

— Течение не съедает кормчих, — сказал он. — Иди. Кладку смотреть.

Кладка, которую надо было смотреть, была под цокольным залом Большого Дома — тот ярус стен, что принимали на себя вес всего здания. Дор проверял её сам, не доверяя никому, и брал с собой дочь с тех пор, как она научилась держать отвес. Смысл был не в помощи. Смысл был в том, что человек, у которого однажды пропал в море сын, не оставляет оставшегося ребёнка на берегу.

Ходили по привычному: Дор стучал обушком по стене — ровно, с шагом в локоть, — и слушал. Элиа шла за ним и слушала тоже, но иначе: она не стучала. Она прикладывала ладонь.

Глухо — так отвечали стены весь день. Глухо, глухо, глухо.

На седьмом столбе она остановилась.

Это случилось не сразу — сначала она просто не убрала руку, как убирают, пройдя камень. Ладонь осталась на известняке, и известняк под ней… не отозвался. Не глухо было — тише глухого. Так бывает, когда прислушиваешься не к камню, а к чему-то за камнем.

— Отец.

— Столб хороший, — не оборачиваясь, сказал Дор. — Дальше.

Элиа не убрала ладонь.

Под камнем — редко, мерно, как бьётся сердце во сне, — что-то толкнуло. Не громко. Так, что другой человек не отличил бы от воды в скрытом русле. Но Элиа с шести лет слушала камни и знала их голоса, как пастух знает голоса своих овец, — и этого звука не было ни в одном столбе Кносса.

Он повторился. Она сосчитала: толчок, дыхание, толчок, дыхание. Не осадка. Осадка трещит — она умирала бы в трещинах, она проседает и хрустит. Это билось.

— Отец, — сказала она вторично, и по тому, как прозвучало её «отец», Дор обернулся.

Он посмотрел на её ладонь. На столб. Потом — на неё: тем самым долгим счётным взглядом, которым он взвешивал всё на свете, кроме собственного страха.

— Что слышишь? — спросил он ровно.

— Осадка, — сказала Элиа, потому что ждала, что он скажет первым, а он не сказал.

— Осадка, — повторил Дор. Он подошёл, приложил к столбу свой обушок — тот самый, которым проверял камень двадцать лет, — постучал: глухо, глухо, глухо. Обычный столб. Обычный звук. — Осадка, — сказал он снова. Уже не ей. Себе. Как будто ставил на запись слово, которое обязан был произнести раньше, чем услышит его от неё.

Элиа сняла ладонь и положила снова.

— Осадка не бьётся, — сказала она тихо.

В цокольном зале было тихо. Стройка стояла: обеденный час, каменотёсы ушли к воде, огромный зал был пуст и полон полуденного света, шедшего сверху, из световых колодцев, узкими косыми столбами. Пыль в этих столбах света висела неподвижно.

Дор стоял перед ней — архитектор Лабиринта, человек, чьим чертежам не было равных от моря до гор, — и молчал так долго, что Элиа начала бояться. Она не боялась отца. Она боялась этого молчания: молчания человека, который считает, что ответить.

— Осадка не бьётся, — согласился он наконец. Голос у него был ровный. Слишком ровный — как у человека, который выровнял его нарочно. — Ты права. Слушай меня, Элиа. Ты права — и потому слушай меня очень внимательно. То, что ты услышишь в этом столбе, — вода. Старое русло, глубокое русло, вода идёт по скале и отдаёт в известняк. Так бывает. У любого здания есть река под ним.

— Я знаю, как вода отдаёт в камень, — сказала Элиа. — Вода шумит. Это не шумит.

Дор накрыл её руку своей ладонью — той, тёплой, в строительной пыли, — и снял её со столба. Аккуратно, как снимают ребёнка с края.

— Слышишь меня? — Он держал её за запястья — не больно, крепко. — В этом зале больше не слушают столбы. Это распоряжение, а не просьба. Кладку под этим залом с этого дня проверяю я один. Ты не прикладываешь руку. Ни к этому столбу, ни к соседним, ни к любому камню подземного яруса. Нигде. Слышишь?

Элиа слышала. И она сделала то, что делала всегда, когда отец говорил с ней этим голосом: кивнула и снаружи сдалась, а внутрь унесла всё.

Так она жила с шести лет — с той зимы, когда сказала по случаю лишнюю правду, и по Кносу за одну ночь пошла поговорка о «глухой девочке архитектора». Она давно научилась: правду о слухе не произносят. Правду носят внутри, как носят нож за голенищем: чтобы был, но чтобы никто не знал.

— Хорошо, — сказала она.

Отец ещё секунду держал её взгляд. В глазах у него было то, чего она не видела у него никогда: не страх. Разрешение. Так смотрят на того, кому запрещают, и заранее прощают, что запретят — напрасно.

Потом он отпустил её руку и пошёл дальше по зале — стучать, ровно, с шагом в локоть. Обычный архитектор. Обычный день.

Элиа осталась у седьмого столба.

Она знала, что не должна. Она положила ладонь обратно — быстро, не успев подумать, так, как дотрагиваются до чего-то горячего, чтобы проверить, горячее ли оно.

Толчок. Дыхание. Толчок. Дыхание.

Редкое, сонное, терпеливое сердце под камнем — сердце, которое, кажется, билось там всегда, до её рождения, до рождения Кносса, до первого быка на первом жертвеннике, — билось и ждало.

А потом, в последнем из косых столбов полуденного света, у дальнего входа в цокольный зал, Элиа увидела тень.

Не свою. Не отца — отец стоял у противоположной стены, и свет падал на него слева, и тень его лежала правильно.

Эта тень не лежала. Она стояла у входа — лицом внутрь зала, лицом к седьмому столбу, — и не принадлежала никому. У теней, если присмотреться, всегда есть хозяин: угол, колонна, человек. У этой не было. Она стояла в пустоте, из которой ничего не падает, и потому её не должно было существовать — и она стояла.

И тень, стоя у входа, слушала.

Так же, как слушала Элиа. Ладонью — нет: вся, всем собой, как слушают те, у кого нет рук, чтобы приложить.

Элиа не закричала. У неё хватило ума не закричать — она видела по отцовской спине, стучащей дальше с ровным шагом, что отец не повернётся, что отец не станет поворачиваться даже если она закричит, — и в этом была ещё одна тайна, которую она унесла внутрь: отец знал. Знал, что тень придёт. Не знал, когда, — но ждал.

Тень медленно повернулась.

У неё не было лица — у теней не бывает лиц, — но у неё было направление внимания, и это направление прошло по Элиа, как рука по гребню, и остановилось на её ладони, прижатой к столбу.

И тень сделала то, чего не делала ни одна тень, которую Элиа видела за всю жизнь.

Она подняла палец — к седьмому столбу. К камню. Вниз.

Не угрожая. Не приглашая. Считая.

Потом тени не стало — так не становится звук, перестаёт быть, и зал снова стал просто залой: световые столбы, пыль, стук обушка отца в дальнем углу, ровный, с шагом в локоть.

Элиа убрала руку. На ладони, на том месте, где лежал камень, остался не холод и не тепло — ритм. Он уходил медленно, как уходят отголоски, и она стояла и слушала, как затихает в её руке чужое сонное сердце.

«Осадка не бьётся», — сказала она отцу.

Отец согласился.

Значит, билось не это.

ГЛАВА ВТОРАЯ. ПЕРВАЯ НОЧЬ

У Кады было правило, которое она никому не называла, потому что оно звучало бы как жалоба: каждую ночь она просыпалась на один час моложе себя.

Не утром — ночью. В одну и ту же стражу, в третью, она открывала глаза в собственном ложе — и час, до рассвета, доживала в теле той, которой была тридцать лет назад: с ровным дыханием, с полной памятью, с руками, которые не дрожали над счётными камешками. К рассвету час кончался. Она возвращалась в своё время, как возвращаются из чужого дома — по дороге вспоминая, где оставила что-то нужное.

Так она платила за память.

Это была не магия и не молитва. Это была цена — и Када, верховная жрица Двустороннего топора, единственная женщина Кносса, помнившая, что стояло в сердце Лабиринта до чудовища, торговалась о ней каждую ночь, как торгуются о воде в засуху. Она могла заснуть глубоко — и не платить. Но тогда наутро в ней не оставалось ничего, кроме службы: служба забирала всё, а отдавала только список обязанностей. А ей нужно было помнить.

Она помнила день, когда в сердце Лабиринта положили кувшин.

Ей было двенадцать. Она стояла за колонной внешней галереи — туда детям нельзя, но она выросла при стройке и знала ходы лучше стражи, — и видела, как архитектор несёт через залу глиняный сосуд с двумя ручками. Ничего в этом не было страшного. Страшное было в том, как несли: так не несут архитектурное — так несут то, что нельзя уронить, и несут так, будто внутри кто-то дышит.

Наутро Када спросила у старшей жрицы, что в кувшине. Старшая жрица посмотрела на неё долго и сказала: «В кувшине осадка». — «Осадку не переносят с двумя руками и не заносят в сердцевинный столб», — сказала Када. Старшая жрица не ответила ничего — и этот ответ, молчание умной женщины, был честнее любых слов. В тот вечер Када поняла: в Лабиринт положили не стройматериал. Положили то, о чём спрашивать нельзя.

И запомнила. Тридцать лет — по часу за ночь.

В эту ночь она проснулась на час моложе — и сразу поняла, что час этот ей не дадут прожить.

Внешний коридор стоял не так, как стоял всегда. Када знала свой дом званиями сна: где гудит ветер в водостоке, где скрипит медная скоба, где в тёмной нише спит сова и её дыхание слышно через известняк. Ничего этого не было. Коридор был тих — так тихо, как не бывает в живом доме, — и в этой тишине, далеко, внизу, под полом, шёл звук.

Редкий. Мерный. Толчок — дыхание. Толчок — дыхание.

Када села. Она не испугалась — за тридцать лет службы при Двустороннем топоре она разучилась бояться то, чему положено бояться; она боялась теперь только счёта. А счёт говорил ей: этот звук не имеет права звучать. Триста лет его не было. Триста лет он был заперт в глине под сердцевинным столбом — и вот он бился вполсилы, как бьётся существо, которое переселилось из кувшина в камень и растёт.

Она оделась и пошла.

Стражи не остановили её — верховную жрицу не останавливают; они шли за ней на расстоянии вытянутой руки, и Када слышала, как дышат трое, и дышали они с усилием, как дышат люди, которым страшно и которые не могут этого показать.

Центральная зала Лабиринта принимала её так, как принимала всегда: высотой, темнотой, запахом известняка и старой смолы. Ничего не изменилось. Изменилось одно.

Фреска.

На северной стене, в девятом ярусе, шёл процессией фриз — тридцать шесть фигур жрецов Первого храма, идущих с дарами. Када выросла под этим фризом; она могла назвать каждую фигуру по положению рук. Теперь ей не нужно было называть. Фреска сдвинулась.

На ладонь.

Вся процессия — тридцать шесть фигур, столетия краски и известкового грунта — сместилась по стене влево на ширину ладони, и под нижним краем, там, где фриз кончался и начиналась гладкая кладка, обнажилась полоса стены, которой не должно было быть. На полосе — свежий, не тронутый временем известняк. И на нём — вмятина. Не рисунок, не знак: вмятина от чего-то прямоугольного, тяжёлого, что лежало здесь — или должно было лежать — и лежало так долго, что камень запомнил.

Отпечаток счётной таблички.

Када подошла. Стражи остались у дверей — не смели идти дальше, и она не позвала их: в этой зале давно установилось правило, которого никто не записывал, — по двоим сюда не ходят, по одному не отпускают. Она подошла одна и приложила ладонь к отпечатку.

Камень был тёплый.

Не живой теплотой — теплотой вещи, которую сняли с тела недавно. И в глубине, под несколькими локтями известняка, редким, сонным толчком, отозвалось.

Када стояла перед стеной, и тридцать лет её службы падали в неё, как падает зерно в меру — ровно, без звука, до края. Она понимала то, что понимала одной половиной ума, вторая отказывалась: фреску не сдвигали. Фреску не сдвинешь на ладонь, не разломав грунта, — а грунт был цел. Значит, стена отдала процессию, как отдают спящего: осторожно, чтобы не разбудить, — и подсунула под неё то, что лежало под ней всегда. Табличку сняли. Отсюда. Из-под фриза.

Триста лет назад табличку заложили в стену вместе с кувшином — Када помнила это так, как помнят зубную боль: не событие, а имя, которое говорят над событием. Табличку вынули. Ночью. Без стражи, без звука, без пыли на полу.

И дописали.

На рассвете её ждало второе — и второе было хуже первого, потому что первое можно было бы объяснить, если бы не второе.

Жертвенники Кносса — а их по городу и святилищам было семьдесят два, от портового до горного, — принимали в этот день утреннюю кровь священных быков. Обряд старше Када, старше Дора, старше всего, что строили руки; кровь собирают в медные чаши, чашу относят к алтарю Двустороннего топора, и жрица счётом проверяет полноту — по числу чаш, по тяжести, по тому, как кровь отражает огонь: свежая кровь отражает.

Чаши были полны. Кровь была свежа.

Следов не было.

Так не бывает — и Када, которая видела этот обряд тридцать лет, знала, как он выглядит: кровь на жертвеннике — это лужа, брызги по камню, тёмный след по желобу стока, мухи к полудню, запах к вечеру. На всех семидесяти двух жертвенниках кровь лежала в чашах — и вокруг чаш было чисто. Не вымыто: вымытое оставляет мокрое. Просто чисто, как бывает чисто там, где ничего не происходило. Бык стоял у жертвенника — живой, тёплый, с запятнанной мордой; жрец держал бронзовый нож; чаша была полна. А между быком и чашей не было пути. Кровь оказалась в чаше так, как оказываются вещи во сне: без перехода.

Служки молчали. Молчали жрецы. Када обходила жертвенник за жертвенником — семь, девятнадцать, тридцать три, — и нигде не находила следа, и с каждым жертвенником по Кносу расходилась молчаливая, вязкая уверенность в том, что обряд прошёл правильно, потому что чаша полна, а остальное — детали, а детали при счёте полноты не значат.

На сороковом жертвеннике она поняла, что молчание это — не страх. Это было то самое, что шло от демонов в годы её детства: то, что ест не плоть — слово. Только теперь оно ело не

слово, а переход. Оно съедало путь крови от быка к чаше — и на съеденном месте оставалась чистота, которая всех устраивала больше правды.

К вечеру её позвали к триаде.

Триада — счётное место жрицы: три каменных яруса-полочки, на которых лежали камешки счёта, и каждая полочка отвечала своей строке отчёта: доля богам, доля жрецам, доля городу. Када вела триаду тридцать лет. Она раскладывала камешки, как дышат: не думая. Её рука знала счёт раньше её.

Вечером она раскладывала утренний приход — число простое, имеющее в себе пятёрки и десятки, число, которое счётное дитя разобрало бы на горсти, — и рука дрогнула.

Она ошиблась.

Не в сложном — в простом: положила камешек на вторую полочку там, где по всякому счёту, по любому уставу, по счёту ребёнка из писцовой школы он лежал на третьей. Она заметила это через полчаса — и минуту смотрела на ошибку, как смотрят на чужую. Потом сняла камешек, переложила, и рука дрожала так, что камешек цокал по камню.

Впервые за тридцать лет службы Када ошиблась в счёте.

Она знала, что это значит, — и это знание было страшнее всего, что принесла ночь. Ошибаются в усталости. Ошибаются в старости. Ошибаются в горе. Но ошибка счётчика, который тридцать лет держал число, как держат чашу с полнотой, — это не слабость руки. Это работа чего-то, что начало считать рядом. И считать с ошибкой — нарочно, терпеливо, как учит ребёнка: вот здесь ты ошиблась, смотри, как правильно. Смотри.

Толчок. Дыхание. Толчок. Дыхание.

Под полом, под городом, под всем, что было построено на памяти, редкое сонное сердце отсчитывало своё — и Када, сидя над триадой в потемках, сделала то, чего не делала ни одна верховная жрица за триста лет.

Она сняла с полочки один камешек. Тридцать шестой по счёту в верхнем ярусе — счётный камешек, отвечавший в отчёте имени.

И отнесла его к окну, к последнему свету, и держала на ладони, пока свет не ушёл.

— Ты знаешь, что я делаю, — сказала она в темноту. Не молитва. Проверка адресата.

Из-под пола — из глубины, из-под центральной залы, из-под фриза со сдвинутой процессией — ответило тепло. Ровное, терпеливое, хорошо знакомое: такое тепло отдаёт камень, под которым бьётся сердце.

Када закрыла ладонь.

— Тогда слушай, — сказала она. — Я буду считать против тебя. До последнего камешка. Это не угроза, это устав: жрица считает. А ты научился счёту у нас — и потому знаешь, что значит счётчик, который не отступил.

Под полом толкнуло — редко, мерно.

И на мгновение — на один удар — ритм совпал с её собственным сердцем, а потом ушёл в свой, чужой, и это совпадение Када унесла в ночь, как уносят ожог: не как рану. Как доказательство, что существо, живущее под Кносом, знает её сердце наизусть.

Оно считало её тоже.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. СТЁРТОЕ ИМЯ

Корабль встал в гавани Кносса на рассвете — и к полудню о нём говорил весь город.

Говорили тихо. Так говорят не о событии, а о язве: не расхаживая, шёпотом, из угла в угол. Корабль был цел. Корабль был полон — товар, матросы, попутчики. Корабль не потерял ни одной реи, ни одной бочки, ни одного человека.

Корабль потерял имя кормчего.

Элиа услышала об этом раньше, чем увидела, — от жён грузчиков у жертвенника, где она дорисовывала третьего быка. Говорили, что кормчий умер посреди моря. Не от бури, не от лихорадки: просто умер — опустился на своё место у руля, как опускается человек, который сидел долго, — и умер, и смерть его была тихой, достойной, какой и положено умирать кормчему, закончившему переход.

А потом началось то, о чём не говорят.

Матросы попытались назвать его — по обычаю: мёртвого кормчего называют трижды, чтобы он нашёл дорогу из моря в порт. Назвать не смогли. Не потому, что не хотели, не потому, что скорбь загородила. Потому что имени не было. Матросы стояли у мачты и открывали рты — и в открытых ртах не было ничего: ни слога, ни первого звука. Они помнили всё: как он держал руль в шторм прошлого года, как свистел через два пальца, как не любил копчёную рыбу и почему — история была длинная, смешная, со скиталом, — они помнили историю до конца. Истории не имели имени. Имя исчезло.

И не у одного его.

Старший матрос, скажем — человек, ходивший с кормчим двенадцать лет, — попытался назвать его через самую вещь: «тот, кто научил меня рифу» — и не смог, потому что рифа, которой он научился, тоже исчезла из памяти, как исчезает вода из песка: не уходя, а высохнув. Он помнил, что был урок. Не помнил урока.

Элиа дослушала жён — и пошла в гавань.

Корабль стоял у второго пирса, и вокруг него была не толпа — было кольцо. Люди держали расстояние, как держат от дома, где смерть. Элиа прошла кольцо: её пускали, как пускают детей, — дети ходят везде, от них не ждут беды.

На палубе, у руля, сидел мёртвый.

Так и сидел — его не тронули: закон не позволял снимающему с кормчего руль безымянность. Кто снимет безымянного с руля — возьмёт на себя то, что съело его имя. Поэтому кормчий сидел у руля, руль был заклинен, и старший матрос стоял рядом, держа над мёртвым полотно от солнца, — и делал это уже третий час, потому что больше делать было нечего, а уйти было нельзя.

— Как звали? — спросил кто-то из кольца. Спрашивали уже сотню раз.

— Не знаем, — сказал старший матрос. Голос у него был ровный, мёртвый — такой же, как у корабля. — Ходили двенадцать лет. Я помню его руки. Я помню, как он ворчал на дочку…

Он осёкся — не от скорби. От пустоты: он полез в память за дочкой кормчего — и не нашёл.

— Дочка? — переспросили в кольце.

— Была дочка, — сказал матрос медленно, как говорят, вызывая. — Убежала в жрицы или… нет. Не помню, куда убежала. Помню, что убежала. — Он посмотрел на свои руки. — У меня от тебя, старик, остался только переход. Двенадцать лет — и один переход.

Старший матрос заплакал. Молча, не вытирая лица, — так плачут моряки, у которых от человека не осталось даже имени, чтобы оплакать его вслух.

Элиа смотрела на мёртвого кормчего и не боялась. Она смотрела и понимала, что бояться нечего: смерть не делала этого. Смерть забирает тело и оставляет имя — имя остаётся в чужих

ртах, в стелах, в молитвах. Здесь было наоборот: тело сидело у руля целое, тёплое ещё, а имя исчезло — вынуто, как вынимают сердцевину из плода, аккуратно, не повредив кожуры.

Как будто что-то пришло посреди моря и сказало: вот этот. Из очереди.

Стелу она увидела к вечеру.

Вдова кормчего привезла её из семейного дома — стелу, на которой высекали имена всех мужчин рода, от деда до внуков: обычная семейная стела, известняк, два локтя ростом. Стелу внесли в портовую капищу — потому что вдова хотела исправить то, что случилось: имя на стеле было. Имя оставалось на камне, когда имя исчезло из людей. Так думали все, кто стоял вокруг.

Имя не было.

Элиа увидела стелу издалека и сдержала вздох.

На том месте, где высекали имя кормчего, в камне была выемка. Не выбоина — выемка: ровная, старательная, выдолбленная резцом вдоль знаков — так, будто кто-то прошёл по буквам резцом и вынул их все, одну за другой, не задев соседних строк. Вокруг выемки стела была целая. Дедовы имена — читались. Отцово — читалось. Поле под ними зияло: гладкая, выскобленная пустота, в которой не было даже стружки — резец не оставил мусора, потому что резца не было.

Стела выгладела так, будто имя выскребли изнутри.

Вдова стояла перед стелой. Элиа смотрела на неё и не могла отвести глаз — не потому, что вдова была стара или страшна. Потому что вдова не плакала. Она стояла перед стелой с выемкой и пыталась понять то, чего не могла понять: она не знала, чья она.

Не потому, что забыла мужа — забыла бы она, она бы чувствовала пустоту и шла бы по ней, как идут по выбитому зубу языком. Хуже: она помнила мужа. Она помнила, как он храпел, как ругал сеть, как ворчал про дочку, как в прошлом году принёс ей раковину с юга. Память стояла в ней целая, полная, живая.

В памяти не было имени.

И без имени память рассыпалась на вещи: она помнила, что жила с кормчим, — но не помнила, с каким. Она помнила, что любила, — но не помнила, кого. Она стояла перед выемкой в камне и была вдовой без вдовства: женщина, у которой все части горя были на месте, кроме того, что делает горе личным.

— Его звали… — сказала она стеле. В третий раз за день, Элиа видела. — Его звали…

И не могла.

Кольцо вокруг стелы молчало. Люди смотрели на женщину, которая не знает, чья она, — и Элиа вдруг поняла, почему люди держали кольцо у корабля и почему говорили о язве, а не о событии. Они поняли то, что она понимала сейчас: это не несчастье с вдовой. Это всем им урок. Показ. Так показывают человеку, что бывает с теми, кто попал в очередь, — показывают через того, кто уже попал.

На Крите казнили не смертью. На Крите забывали.

Смерть — это всё. Смерть кончается в земле. Забытие не кончается: забытое не возвращается, потому что возвращаться некуда — имени больше нет ни в одном рту, ни на одной стеле, ни в одной памяти. Забытый человек живёт дальше, ест, пьёт, у него есть лицо и руки, — но он больше никому не тот, кем был. Он никто. Его никто не помнит — и, страшнее всего, он сам не может напомнить: у него нет имени, чтобы сказать.

А имя, Элиа знала это всем телом, — это не звук. Имя — это то, что держит человека в мире. Человек без имени — это дом без углов.

Старший матрос проводил вдову до стелы и остался с ней — из двенадцати лет. Элиа отошла к капищу, к краю, и встала у стены.

Стена была известняковая, портовая, старая.

Она приложила к ней ладонь — по привычке, по зову, не думая: руки сами тянулись к камню, когда в мире делалось что-то, чего камень должен был помнить.

Камень помнил.

Под ладонью, в известняке, шёл звук. Не билось — шёл, как шепчут перечисление: тихо, по слогам, мерно, как перечитывают список. Камень портового капища читал список — и Элиа, прижавшая ладонь, слышала его ушами не ушами, тем самым слухом, который она двадцать лет прятала, как прячут нож за голенищем:

Список был из имён.

Одно за другим, по слогам, спокойным счётным порядком — имена. Дедовы, отцовы, все имена, которые высекали на всех стелах Крита за триста лет. Камень читал их все — и среди них, ровно посередине перечисления, на том месте, где в списке стояло имя кормчего, был пропуск. Не пауза — пропуск: как будто читающий добрался до строки, посмотрел на неё и сказал: «здесь выскоблено».

И пошёл дальше.

Камень помнил даже выемку.

А потом — Элиа до конца жизни не поймёт, зачем, — камень вернулся. Перечисление дошло до конца, смолкло — и пошло обратно, и на пропущенном месте, на выскобленной строке, остановилось и — тихо, по слогам, как диктуют тому, кто записывает, — назвало.

Имя.

Элиа услышала его целиком, до последнего звука: имя, которого не было ни в одном рту Кносса, имя, вынутое из вдовы, из матроса, из памяти двенадцати лет переходов, — имя, которое осталось только в камне, потому что камень не отдаёт своё тому, что вынимает у людей.

Имя было простое. Имя было чужое. Имя было — её.

Не её: ей его не давали. Оно лежало в её ладони, как лежит в ладони чужая монета, — тёплое, цельное, имя целиком, — и Элиа понимала со всей ясностью четырнадцати лет, что держит самое опасное, что можно держать на Крите: имя человека, которого взяли.

Она убрала ладонь от стены.

Сделала это медленно, аккуратно, как убирают руку от спящего змеи, — и имя осталось в ней, потому что имя, однажды услышанное, не выходит: оно сидит в ухе, как сидит в камне.

За её спиной, у выхода из капища, стоял человек.

Она заметила его, только повернувшись: человек в простом плаще, с неприметным лицом — из тех лиц, что не запоминаются даже нарочно. Он не смотрел на стелу и не смотрел на вдову.

Он смотрел на Элиа.

И у Элиа, в руке, где лежало чужое имя, холодело — так холодит медь, взятая в зимнем море: не страшно, но точно, и знает она вдруг, с холодом вместе, что этот человек увидел не то, что она слушала камень. Он увидел, что она услышала имя.

— Иди домой, девочка, — сказал человек ровно.

Голос у него был такой, какого она не слышала ни у кого: в голосе не было ничего личного. Ни тепла, ни холода, ни возраста — голос, как у человека, у которого отобрали и это. Он говорил, как говорят формулы.

— И не прикладывай ладонь к тому, что читает.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. ВЫЗОВ

К Каде вызовы не писали. К верховной жрице Двустороннего топора не посылали гонцов с табличками и не просили аудиенции через писцов — так не делали уже никто из живущих. К ней шли. Если она хотела кого-то видеть, человек узнавал об этом тем же способом, каким узнавали о смерти близкого: приходил кто-то в простом плаще, говорил «жрица ждёт» — и всё.

К Дору такой человек пришёл в полдень, на базаре, у лавки медника.

— Архитектор. Жрица ждёт.

Дор вытер руки о передник — медленно, обстоятельно, как вытирают руки не от грязи, а для того, чтобы не идти ещё минуту. Элиа, стоявшая на два шага позади с корзиной быков для обжига, видела его спину. Она знала эту спину двадцать лет — знала, как она держится при заказчиках, при надсмотрщиках, при вестях о пропавших кораблях. Сейчас спина была другой. Не ссутулившаяся. Собранная.

Так собираются не перед бедой. Так собираются перед тем, чего ждали.

— Возьми быков домой, — сказал Дор, не оборачиваясь. — Обожги к вечеру. Я вернусь к ужину.

Он пошёл за человеком в плаще, и Элиа смотрела ему вслед — а потом, через десять шагов, сделала то, чего отец ей запрещал всего месяц назад, и то, что умела делать с шести лет.

Она пошла за ним не следом. Другой дорогой — через двор Большого Дома, галереей с колоннами, к заднему входу святилища. Она знала: в святилище её не пустят. Но за колоннами внешней галереи есть тёмный промежуток, куда не заглядывает даже стража, — и оттуда, из этого промежутка, слышно всё, что говорят в переднем зале, если говорить тихо. Так, по крайней мере, было всегда.

Так было и в этот раз. Только слышала она не ушами.

Передний зал святилища Двустороннего топора был старше Кносса — так говорили жрецы, и никто не проверял, потому что проверять было нечем: камень зала был тёмный, отполированный за века до цвета мокрого хлеба, и ни одна стела не помнила, когда его клали. В центре зала стоял алтарь — двусторонний топор, вырезанный из цельного блока, вершиной вниз. Под ним, на каменной скамье, сидела Када.

Дор вошёл и не сел.

— Садись, архитектор.

— Стою, — сказал Дор. — К жрице не садятся с чужим делом.

— У тебя нет чужого дела, — сказала Када. — У тебя своё. Садись. Это будет долгий разговор, и в конце его ты пожалеешь, что стоял.

Дор сел. Элиа, в своём тёмном промежутке за колонной, видела через щель их обоих — и жрицу, и отца — как видят сцену через прореху в занавесе: фрагментами. Руки Кады на коленях. Профиль отца. Тёмный блок топора между ними.

— Скажи мне, — начала Када, — что ты слышал в ночь, когда сдвинулась фреска.

— Ничего.

— Ты не в суде, Дор. Здесь лгут не тому, кто спрашивает: здесь лгут себе. Я спрашиваю в последний раз. Что ты слышал?

Дор молчал. Потом сказал — ровно, как диктуют чертёж:

— Толчок. Дыхание. Толчок. Дыхание.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.